



**ЧЕЛОВЕКОЗНА-
НИЕ: ИСТОРИЯ,
ТЕОРИЯ, МЕТОД**

**Дмитриев
Анатолий
Васильевич** —
член-корреспондент
РАН, доктор фило-
софских наук, глав-
ный научный со-
трудник Института
философии РАН.
В журнале “Чело-
век” публикуется
впервые. E-mail:
mig@isras.ru
**Задорожнюк
Иван
Евдокимович** —
доктор философ-
ских наук, началь-
ник отдела социаль-
но-гуманитарных
журналов Нацио-
нального исследова-
тельского ядерного
университета
МИФИ. Постоян-
ный автор журнала.
E-mail: zador46@
yandex.ru

Статья подготовлена
при поддержке
РГНФ, проект
№ 11-03-0059.

20

ПРОВОКАЦИЯ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПОНЯТИЯ И НЕУСТРАНИМОСТЬ ФЕНОМЕНА

© 2016

А.В. Дмитриев, И.Е. Задорожнюк

К теории провокации

Современному обществоведению, включая науки о человеке, все чаще приходится заниматься феноменом провокации. Но, при исследовании его в разных ракурсах бывает необходимо дифференцировать различные уровни анализа и выделять в изучаемом феномене множество слоев и интенций, так что однозначное определение понятия “провокация” оказывается невозможным. Впрочем, в биологии так и не выработано полное и удовлетворяющее по ряду параметров определение понятия “жизнь”, а в математике — понятие “число”, что не мешает им бурно развиваться.

Но обществоведы, в отличие от биологов или математиков, похоже, даже не пытаются дать необходимое определение, хотя что такое провокация знают практически все. Например, в “Британской энциклопедии” вообще нет определения провокации и даже сам термин употребляется лишь единожды в сугубо юридическом контексте. Это же можно сказать и о большинстве других энциклопедических изданий. А изредка встречающиеся определения никак нельзя признать удовлетворительными.

В рамках проекта по изучению провокации как конфликтной формы взаимодействия сделана попытка хоть как-то прояснить эту проблему. Одним из важнейших источников для понимания соответствующего феномена, особенно если рассматривать его в ракурсе наук о человеке, безусловно, следует признать художественную литературу. В частности, ему специально посвящены всемирно известные романы Ф.М. Достоевского и Андрея Белого.

О том, что роман может и должен выступать важным источником для выработки именно антропологического понимания феномена провокации, прямо говорил Ф.А. Степун. “Провока-

ция, широкой волной разлившаяся по России, по-настоящему еще не изучена. Выяснено только то, что продажностью и корыстной беспринципностью ее до конца не объяснить. В исследовании души Ставрогина Достоевский одним из первых проник в ее тайну” — писал он в статье «“Бесы” и большевистская революция» за три года до смерти [17, с. 688.]. Для нас здесь особенно важно, что Степун призывает искать тайну провокации в душе Николая Ставрогина, а не в манипулятивных действиях другого героя “Бесов”, Петра Верховенского, то есть предлагает быть сначала антропологом, а уж затем историком и социологом. В статье также можно усмотреть трактовку русской революции в целом как провокации, ибо она “осуществлялась преждевременно и без участия необходимого для нее пролетариата” — именно в такой форме предвидел ее Достоевский, и “предчувствие это сбылось” [там же, с. 691].

Современная социально-политическая жизнь все больше становится полем для развития провокации и появления новых ее видов (к примеру, троллинга в Интернете). Очевидна необходимость изучать ее в самых разных аспектах: социологическом, психологическом, политологическом. К этому же подталкивают и некоторые тенденции в социальных исследованиях: ученые сегодня все чаще обращаются к изучению таких “короткоживущих” явлений, как скандал, юмор, слухи и т. д. В монографии, посвященной анализу скандала, как раз и рассматривается провокация в качестве сопутствующего феномена. Она определяется как “побуждение, подстрекательство отдельных противоборствующих сторон к действиям, которые могут привести к тяжелым последствиям, а иногда и к поражению” [3].

В социологическом аспекте провокацию можно рассматривать как действие социальной группы (индивида) с целью подтолкнуть другую группу (другого индивида) к совершению выгодных для себя действий. В психологическом же ракурсе она часто трактуется как целенаправленное использование некоторых психических черт и качеств объекта для вызова определенной прогнозируемой реакции с его стороны.

Понятно, что дать адекватное и исчерпывающее определение столь многогранного феномена вряд ли возможно. Но можно попытаться комплексно исследовать его и выработать набор определений, опираясь на новейшие методологии научного поиска, включая подход с позиций научной рациональности постнеклассического типа [16]. Он как раз позволяет комплексно использовать в исследовании самые разнородные источники знания.

Семиотика провокации

При всей кажущейся простоте понятие провокации выглядит довольно размытым, а слово — многозначным. В древнем Риме провокацией называлась апелляция на решение магист-

*А. Дмитриев,
И. Задорожник*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



рата по уголовным делам непосредственно к народу. Первоначально она осуществлялась в случаях присуждения к телесному наказанию или смертной казни, позднее распространилась на случаи назначения крупных штрафов; суть ее состояла в пересмотре уголовного дела народным собранием и вынесении нового приговора. Еще в XIX веке “провокация” оставалась, в основном, юридическим понятием, хотя значение слова, естественно, получило новые оттенки.

В современном праве трактовка провокации совершенно изменилась. В частности, ст.304 УК Российской Федерации гласит: “Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, — наказывается штрафом”. Впрочем, оборот “попытка передачи” мешает точно оценить содержание состава данного преступления, да и вообще в юридической литературе тема провокации взятки является остро дискуссионной. На практике сотрудники полиции широко применяют провокацию, считая ее нормальным оперативно-розыскным мероприятием, хотя законность таких мероприятий довольно сомнительна.

Политологи и историки считают решающей характеристикой провокации политические мотивы и интенцию новых и социально активных сил на определенные цели. Как следствие, неполитические провокации вообще не привлекают их внимания. Довольно тактичное определение предложил, в частности, политолог Н.В. Загладин. С его точки зрения, провокация — это политическая акция, цель которой — побудить политического противника совершить заведомо проигрышные для него действия или содействовать совершению таких действий с тем, чтобы приписать их противнику [7].

В европейской рационалистической философии провокация рассматривается как действие, направленное на ослабление контроля разума над чувствами, а значит, ведущее от социального порядка к хаосу. Понимаемая таким образом провокация, блокируя способность человека разумно рассуждать, низводит его на уровень инструмента в чужих руках, — считает А.А. Сычев [18]. Чтобы полностью заблокировать или хотя бы сильно ограничить “контролирующую инстанцию”, провокационное действие должно стать серьезным вызовом: осмеять, оскорбить, унижить, привести в негодование, преступить принятые нормы. В этом случае результатом провокации будут сильные аффекты (злость, гнев, ярость, унижение, обида), которые сложно поставить под контроль сознания. В рамках этой традиции провокации в политической и правовой сферах ассоциируются с такими сомнительными в правовом и моральном

плане действиями, как подстрекательство, предательство, обман, клевета, манипулирование.

В философских традициях, тяготеющих к иррационализму, трактовка провокации, по сути, аналогична, но оценивается последняя прямо противоположным образом. Разница в оценке связана, прежде всего, со скептическим отношением к разуму как определяющей инстанции принятия решений. При таком взгляде провокация — это инструмент прорыва из мира унифицированности и регламентаций к подлинному существованию и ярким чувствам.

И о первой, и о второй традиции можно сказать словами Ф. Ницше (тексты которого и сами по себе являются своего рода провокацией): человеческое, слишком человеческое... В смысле, труднее всего поддающееся осмыслению...

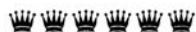
Социально-философское рассмотрение зачастую позволяет трактовать провокации как средство поднять общественную активность. Если большая часть группы ведет себя пассивно, провокационные действия могут заставить ее определиться со своими предпочтениями, встать на защиту своих интересов или обратиться к социально полезной деятельности. Провокация в подобном понимании — это попытка преодолеть инерцию привычного, сломать шаблоны, стимулировать нестандартные творческие действия. Хотя подобная смелость вполне может довести (и доводит) до катастрофы. Впрочем, провокация во многих ракурсах выглядит явлением ценностно амбивалентным... “Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора с мирной улыбкой и с вечной ручкой в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет земле” — говорит, например, герой романа И. Эренбурга “Хулио Хуренито”, которого рассказчик с восхищением называет “великим провокатором”... Можно попытаться разделить “хорошее” и “плохое” в провокации, прибегая к двум разным субстантивированным прилагательным: “провокативный” и “провокационный”.

Лингвистическая история

Попытаемся все же еще раз обратиться к определению провокации, предварив его экскурсом в историю этого слова. При чем сначала в английском языке, поскольку, в отличие от “Британской энциклопедии”, “Оксфордский словарь английского языка” дает обстоятельнейшие сведения о том, когда это слово появлялось в том или ином значении, в каких контекстах употреблялось, какие производные слова рождало и какого рода оттенки в его истолковании привносились из других языков.

Слово “провокация” — “provocation” — пришло в английский язык на рубеже XII–XIII веков из латинского через старофранцузский [19]. Как обозначение действия по вовлечению судебного ведомства или судьи в тяжбу по понуждению истца

*А. Дмитриев,
И. Задорожник*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



оно употребляется с 1426 года. С 1484 года в письменных источниках “провокация” трактуется как действие или призыв в борьбе, а ровно 100 лет спустя зафиксировано употребление данного слова для обозначения акта словесного оскорбления.

Во всех упомянутых контекстах данное слово нейтрально либо соотносится, в основном, с юридическими реалиями (похожим образом оно употреблялось в римском праве, в том числе и в его интерпретациях в странах Европы) и с тем, что можно назвать античным политическим дискурсом и его рецепциями у европейских политиков от Карла Великого до Наполеона (включая идею империи-наследницы Рима).

Второй круг истолкований связан с намеренным побуждением к деструктивным поступкам — в таком смысле слово, если верить “Оксфордскому словарю”, употребляется с 1425 года.

В политических контекстах понятие “провокация” присутствовало, скорее, имплицитно: многие элементы его содержания выражались через слово “provokator” (в английском написании “*provoker*”). Его употребление зафиксировано с 1432 года, причем не всегда с отрицательными коннотациями.

О провокации как о действии, связанном с гневом, возмущением, раздражением, упоминается в английском переводе Библии 1539 года (Псалмы, 95, 8–9: “*Harden not your heart as in the provocation and as in the days of temptation in the wilderness when your fathers tested Me*”; в русском переводе: “Не ожесточите сердца вашего как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши” (как видим, авторы синодального перевода предпочли вообще обойтись без этого слова — слишком трудно было подобрать ему русский эквивалент для данного смыслового и стилистического контекста).

Слово “*provoker*” в 1605 году использовал Шекспир в “Макбете”; череду провокаций можно усмотреть во многих его пьесах: достаточно вспомнить платок в “Отелло” или осознанно выстроенную “мышеловку” в “Гамлете”.

Интересно, что использовавшееся во французском написании слово “*provocateur*”, употребление которого зафиксировано в английском языке с 1922 года, соотносилось с левыми политическими взглядами. Считается, что его ввел американский писатель и один из основоположников разоблачительной журналистики (“разгребания грязи”) Э. Синклер, а новые импульсы к его употреблению дал Л.Д. Троцкий. На наш взгляд, к такому словоупотреблению подтолкнуло “дело Дрейфуса” во Франции и разоблачение в новом веке провокатора из руководства партии эсеров Е.Ф. Азефа. Впрочем, англичане оказались неплохими учениками, о чем свидетельствует фабрикация уже в 1920-е годы “письма Зиновьева”, якобы, призывавшего к пролетарскому восстанию в странах Европы.

Примечательно употребление производного от “провокации” прилагательного “провокативный” (“*provocative*”), встре-

чающегося в англоязычных текстах с 1486 года. С начала XVII века оно стало обозначать сексуальную привлекательность, а с начала XIX века — стиль мышления (впервые его употребил в данном значении в 1817 году С. Кольридж), причем обе трактовки содержат и положительные коннотации. Русскоязычные словари слово “провокативный” пока не зафиксировали, хотя в реальных устных и письменных текстах оно употребляется достаточно широко.

В 1827 году историк Т. Карлейль ввел в английский язык слово “провоцируемый” — *“provokee”*, а в 1834 году появился термин “склонность к провокации” — *“provocability”*, хотя соответствующее прилагательное (*“provocable”*) отмечено еще в 1613 году. В 1894 году начало употребляться слово “раздражитель” (*“provocant”*), а в 1904 — *“provocatrix”*, нечто вроде “провокаторши”. Затем “Оксфордский словарь” лет 60 не фиксирует никаких новых слов с этим корнем, но с 1966 года в широкое употребление начало входить слово “тест провокацией” — *“provocation test”* для обозначения процедуры проверки болезней и даже жизнеспособности человека. В том же году в английский язык вошло слово “прово” — *“provo”*, пишущееся и с прописной, и со строчной буквы, обозначающее группу молодых голландских агитаторов, провоцирующих власти своими анархистскими выходками; вскоре оно начало использоваться не только применительно к Голландии.

В других языках “траектории” употребления слова “провокация” не менее сложны, но изучены они слабее.

Литературоведение провокации

Перейдем от “урока языка” к “уроку литературы”. Ведь именно писатели одними из первых и с достаточной полнотой схватывают причины и последствия провокаций, и особенно мегапровокаций.

Бравый солдат Швейк и народы Европы как жертвы грандиозной провокации XX века. Известно, что многие социальные мыслители начинают историю XX века с Первой мировой войны и предшествовавшей ей провокации — удавшегося покушения на эрцгерцога Франца Фердинанда. Известием о нем открываются “Похождения бравого солдата Швейка” — один из самых читаемых в мире романов первой половины XX века. “Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка”. Когда выясняется, какой именно Фердинанд был убит, Швейк, во-первых, вспоминает, что это не первый из погибших не своей смертью Габсбургов, во-вторых, предрекает войну вследствие как раз этого убийства: в соответствии с его вариантом “геополитики” “все пойдет как по маслу, война будет”. В-третьих, намеренно или ненамеренно, прямо или косвенно, но через многословие своего героя, через его готовность принять смерть за государя-императора, а затем и его фронто-

А. Дмитриев,
И. Задорожник
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



вые приключения Гашек фиксирует: провокации против высших лиц государства сменились провокациями против масс.

Вряд ли в этом плане можно сомневаться, что роман Гашека своеобразно отметил важный сдвиг в интерпретации провокации: от персонификации жертв террористического акта и его исполнителей до их массовизации и принципиальной (квази)анонимности.

Проследив динамику возникновения и употребления соответствующих слов и случаи, схватываемые художественной литературой, можно лучше понять как инвариантность феномена провокации, так и культурно-этнические различия в ее многочисленных литературных отражениях. В частности, как уже отмечалось, роман Гашека своеобразно зафиксировал важный сдвиг интерпретаций.

Но особо поучительны в этом плане “уроки” русской литературы. Специально провокации посвящены два величайших романа XIX и XX веков: “Бесы” Достоевского (интерпретациями которого заставлены целые библиотечные полки — при том, что само слово “провокация” в его лексиконе вообще не присутствует: в романе говорят, скорее, о “самозванстве”, “шпионстве” и “мошенничестве”) и “Петербург” Андрея Белого. Тему провокации в этих романах раскрывают, в частности, фундаментальные статьи недавно скончавшегося историка и философа С.Н. Земляного, собранные в книгу с то ли провокационной, то ли провокативной судьбой: будучи выпущенной издательством “Знак”, она отыскалась лишь в библиотеке Красноярска (мы выражаем признательность за возможность познакомиться с ней по почти случайно отыскавшемуся экземпляру). Это, в первую очередь, статьи [8; 9], мимо которых вряд ли может пройти серьезный исследователь феномена провокации.

Роман “Бесы”, как уже говорилось, не содержит слова “провокация”. Между тем очевиден тот факт, что прототип одного из главных его героев, Петра Верховенского, С.Г. Нечаев, равно как и М.А. Бакунин, в котором некоторые литературоведы видят прототип Ставрогина, занимались как раз провокациями. Одним из первых это отметил Ф. Энгельс. В письме Ф. Куно от 24 мая 1872 года он писал: “Бакунин был сильно запутан в нечаевской истории... Нечаев же либо русский агент-провокатор, либо, во всяком случае, действовал как таковой” [10]. Кстати, сам Бакунин подозревал, правда, эпизодически, Нечаева в провокаторстве, а в романе Ставрогин прямо спрашивает: “А, слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?” — на что получил более чем двусмысленный ответ: “Нет, покамест не из высшей полиции” [5]. К. Маркс в статье “Конгресс Интернационала” (1872) отмечал: «Процесс Нечаева убедительно показал, что Бакунин посылал в Россию совершенно незнакомым людям письма, на конвертах которых стоял штамп “Тайный революционный комитет”», какового в действительности не существовало... [11].

Достоевский одним из первых понял и выявил не только через текст романа, но и через свои статьи взаимную зависимость факта провокации и разговоров о ней: провокация тем эффективнее, чем чаще о ней говорят и пишут; в свою очередь, проговариваемое и написанное часто служит источником провокации. Ограничимся одной цитатой из его “Записных книжек” (1872–1875 годы): “Достоинство появления Нечаева совершенно равняется достоинству умолчания о Нечаеве, т.е. в том смысле, что одно другого стоит, и обозначает всю нетвердость нашего либерализма, всю нелепость, рабскую боязнь, что скажут и проч.” [13].

Вряд ли здесь имеет смысл соглашаться или спорить с суждением Достоевского о либерализме; важно другое: в определенные времена постоянно существующий заказ на провокацию реализуется с большей вероятностью, и анализ состояния медийной среды может подсказать, почему. И еще одно: Верховенский в романе часто говорит, что он не социалист, а мошенник, ориентирующийся на бунт и разрушение. В подготовительных материалах к роману в его уста вкладывается сентенция: “В сущности мне наплевать; меня решительно не интересует: свободны или несвободны крестьяне, хорошо или испорчено дело. Пусть об этом Серно-Соловьевичи хлопочут да ретрограды Чернышевские! — у нас другое — вы знаете, что чем хуже, тем лучше” [6].

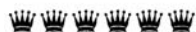
Свое видение провокаций Достоевский обосновывает, скорее, антропологически, а не социологически (на это намекал и цитированный выше Ф. Степун). Впрочем, выше мы уже отмечали, что такое качество человеческой природы, как провокативность, то есть, склонность необычными для своего социального окружения способами отыскивать нечто новое, — заслуживает не только осуждения. Да и сам Достоевский сполна обладал этим качеством — достаточно вспомнить его размышления о Боге на грани почти абсолютного атеизма (дитя неверия и сомнения до гробовой крышки — аттестовал он себя).

Фантасмагория и остранение провокации. “Петербург” Андрея Белого вышел в 1913 году — в год празднования 300-летия династии Романовых и накануне Первой мировой войны (мы уже упоминали о ней как о мегапровокации в связи с убийством эрцгерцога Фердинанда и романом Гашека). Это время одного из переломов отечественной и мировой истории, когда оказывается, что социальная ситуация требует перемен, а “психический контагий”¹ помогает по-своему оформить эти требования в массовых ожиданиях и импульсивных индивидуальных действиях. В такие моменты те или социальные силы и их представители просто не могут не совершать деструктивных действий.

В роман не только прогнозировались провокации близкого будущего, но и описывались следствия уже прошедшего события, связанного с масштабными провокациями — русской революции 1905–1907 годов (взять хотя бы ее начало — органи-

А. Дмитриев,
И. Задорожнюк
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустранимость
феномена

¹ Понятие “психический контагий” (contagium psychicum) было введено в оборот создателем теории коллективной рефлексологии В. М. Бехтеревым в 1908 году в получившей тогда широкую известность книге о внушении. Ученый писал, что по аналогии с физической заразой при посредстве “живого контагия” (contagium vivum) можно говорить о психической заразе (contagium psychicum), микробы которой не видимы под микроскопом, но действуют везде и всюду и передаются через слова, жесты и движения окружающих лиц, через книги, газеты и прочее (Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 1908).



зованное не без участия провокаторов “кровавое воскресенье”). Примечательно, что сам Андрей Белый связь романа с событиями революции “провокативно” отрицал. В письме критику и публицисту Иванову-Разумнику в декабре 1913 года он утверждал: “Революция, быт, 1905 год и т.д. вступили в фабулу случайно, невольно, вернее, не революция (ее не касаюсь я), а провокация; и опять-таки провокация эта лишь теневая проекция иной какой-то провокации, провокации душевной, зародыши которой многие из нас долгие годы носят в себе незаметно, до внезапного развития какой-нибудь душевной болезни (не клинической), приводящей к банкротству; весь роман мой изображает в символах места и времени подсознательную жизнь искалеченных мысленных форм” [1, с. 516]. Таким образом, и Андрей Белый, подобно Достоевскому, выводит провокацию не столько из социологии, сколько из антропологии...

Именно взгляд на политико-психологические реалии, связанные с терроризмом, провокацией, индивидуальным сумасшествием на фоне коллективного умопомешательства и привлекает сегодня едва ли не главное внимание в романе. Эти феномены выступают важными характеристиками стиля политики XX века, обогатившейся новыми провокационными приемами в веке XXI. В этом плане “Петербург” — необходимое введение в изучение провокации. В частности, в романе едва ли не впервые в художественной литературе (да и не только в художественной) поставлен вопрос о том, что террор или провокация во имя высоких целей ведут к деперсонализации личности, а то и к сумасшествию. Возьмем, к примеру, признания террориста по кличке “Неуловимый”: «Общее дело! Да оно давным-давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне видаться с другими: общее дело-то ведь и выключило меня из списка живых [...] Я — я: а мне говорят, будто я — не я, а какие-то “мы”. Но позвольте — почему это? А вот память расстроилась: плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства, — незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол, — знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердисься: общее дело, социальное равенство, а ...». [там же. с. 82]. Это наблюдение важно для всего комплекса наук, изучающих сегодня феномены террора и провокации.

Один из авторов настоящей статьи на круглом столе весной 1992 года отмечал: в определенные исторические эпохи (а сегодня можно сказать — и повседневно) «общество догадывается, а государство знает, что в истоке террора — провокация. И под связку “насилие—провокация” попадают как индивиды с личностными отклонениями, так и небольшие сплоченные группы». [14]. Там же использовалась метафора “дьявольского треугольника”: террор — провокация — самоубийство как конечный пункт для террориста.

Впрочем, в феномене провокации социальные и социально-психологические аспекты не менее важны, чем индивидуально-психологические и антропологические. Конечно, провокация как изолированный самодостаточный акт одиночки или небольшой группы — не редкость в истории, но резонанс от нее не всегда велик, ее можно быстро локализовать и эффективно нейтрализовать. Другое дело, когда общество ждет каких-то подвижек, не осознавая причин и последствий, а, скорее, проникаясь утопическими устремлениями и “благородным” негодованием — тогда влияние провокации куда сильнее.

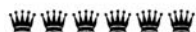
Андрей Белый блестяще передал атмосферу таких ожиданий. Кажется бы, подготовка провокации через террористическое действие должна тщательно скрываться. Но о ней почему-то “знают” все. «И пропавши за перекрестком, напало из нового перекрестка: — “Пора...право...”. Незнакомец услышал не “право”, а “прово-”; и докончил сам: — Провокация?!” Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов: провокацией наделила она невинное право [1, с. 28]. Где право, а точнее, абстрактно-громкие апелляции к нему, — там и провокация... Удивительное наблюдение, принципиально нерасшифровываемое чисто научными средствами, к примеру, юриспруденции. Или социологии...

Надо сказать, что это крайне провокативное место содержит еще одну аллюзию: известно, что лозунгом эсеров — партии, которой больше, чем какой-либо другой, симпатизировал А. Белый, было знаменитое: “В борьбе обретишь ты право свое”. И как раз эта борьба сопровождалась фатальными для ее исхода провокациями, дискредитировавшими все благородные призывы.

А вот и невольное орудие провокации — описанный в романе террорист по кличке Неуловимый (его прототипы — предшественник провокатора Азефа на посту главы Боевой организации эсеров Г.Г. Гершуни и Б.В. Савинков, один из ее руководителей). Это Александр Иванович Дудкин, о котором говорится: “Провокация, стало быть, в нем сидела самом; а он от нее убежал: убежал — от себя. Он был своей собственной тенью” [Там же, с. 28]. И — слухи, разговоры, догадки со стороны носителей коллективного умопомешательства: «“Смотрите — Неуловимый!” — “Какая смелость!..” И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...» [Там же, с. 29].

Важно не столько то, что Неуловимого никто не ловит (из дальнейшего изложения видно, что он находится в поле зрения агента охраны Азефа), сколько то, что его видят и могут опознать десятки людей, начиная с “курсисточек” на улице, — и восхищаются им. Почему так происходит? Потому, что не только индивид, но и все общество вовлекается в некую “мозговую игру”, создавая психическую среду для террора и провокации.

*А. Дмитриев,
И. Задорожник*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



Соответствующая заразная атмосфера (психический контакт) и создает почву для подобных “игр”: ими, согласно роману, охватываются не только студент, но и мещанин и даже околочный надзиратель; не только столицы, но и все города и даже все империи; не только университеты, но и заводы.

«Ууу-ууу-ууу: так звучало в пространстве; звук — был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира: достигал этот звук редкой силы и ясности: “ууу-ууу-ууу” раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес. Слышал ли ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет: никогда» [там же, с. 77].

Описание крайне размытое и не во всем понятное: что значит, например, такой песни “не будет никогда”? Точнее было бы сказать: она не прекратится никогда в том же XX веке с его двумя мировыми войнами и двумя российскими революциями... Столетие, о котором еще один визионер — Б.Л. Пастернак — писал: “А в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно — что жилы отворить”.

Еще одно соображение автора “Петербурга” по поводу “мозговых игр” высказано в уже цитированном письме Иванову-Разумнику: «Мой “П е т е р б у р г” есть в сущности зафиксированная мгновенно жизнь подсознательная людей, сознание оторванных от своей стихийности; кто сознательно не вживется в мир стихийности, того сознание разорвется в стихийном, почему-либо выступившем из берегов сознательности; подлинное местодействие романа — душа некоего не данного в романе лица — мысленные формы, так сказать, недоплывшие до порога сознания. А быт, “П е т е р б у р г”, провокация с проходящей где-то на фоне романа революцией — только условное одеяние этих мысленных форм. Можно было бы роман назвать “Мозговая игра»» [там же, с. 516].

Феномен подобных “игр” как источника террора и провокаций пока не привлек внимание исследователей.

Где-то с начала второй главы романа прорисовываются и контуры главного провокатора — то ли “хохла-малоросса” Липпанченко [там же, с. 70], то ли грека Маврокардато, то ли еврея, то ли даже монгола, вхожего в самые различные дома и учреждения, а проживавшего с женой на окраине Петербурга. Его прототип — знаменитый Е.Ф. Азеф, по справедливой оценке С.Н. Земляного, — крупнейший провокатор всех времен и народов, по своему воздействию на империю и на династию Романовых (убийство одного из которых, князя Сергея Александровича, он и организовал) сравнимый с Г.Е. Распутиным.

К середине главы Липпанченко идентифицируется с “некоей особой”, фиксируемой в диалоге Дудкина с приготавливаемым к провокации Николаем Аполлоновичем Аблеуховым, которому предписывают убить своего отца-сенатора. «“Это, что же

особа-то — инстанция вашей партии?”. — “Высшая: это вот вокруг нее-то и совершается бег событий: может быть, крупнейших событий: вы о с о б у - т о знаете?” — “Нет, не знаю”. — “А я знаю”. — “Ну вот видите: давеча вы сказали, что будто вы и не в партии вовсе, а в вас — партия; как же это выходит: стало быть, сами-то вы в н е к о й о с о б е”. — “Ах, да она видит центр свой во мне”» [там же, с. 89].

Андрей Белый гениально угадал с фамилией провокатора; в своих воспоминаниях 1930-х годов он пишет: “Неуловимый и провокатор Липпанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей; в провокаторе Липпанченко конечно же отразился Азеф; но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко; когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять во внимание, что восприятие Липпанченко, как бреда, построено на звуках л-п-п, то совпадение выглядит поистине поразительным” [там же, с. 507].

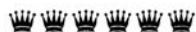
Но важнее, на наш взгляд, другое: именование суперпровокатора “липовым” человеком. Двойственность этого “липового” человека чисто физиогномически прекрасно схвачена наблюдающим за ним Дудкиным (Неуловимым), убежденным террористом, желающим оставаться честным человеком: “... внимательный разбор чудовишной головы выдавал лишь одно: голова была — головой недоноска: чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами; и в то время как лобная кость выдавалась чрезмерно наружу надбровными дугами (посмотрите на череп гориллы), в это время под костью, может быть, протекал неприятный процесс, называемый в общепитии размягчением мозга. Сочетание внутренней хилости с носорожьим упорством — неужели это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру, а химера росла — по ночам: на куске темно-желтых обоев усмехалась она настоящим монголом” [там же, с. 274–275].

Пророческим оказался и психологический портрет Дудкина, о котором в послесловии к академическому изданию романа говорится: “Объективно он оказался причастен к провокации, хотя сам он о ней не подозревает. Он хранит в душе высокую нравственную норму, веру в моральные устои, он идет на борьбу со злом не столько во имя социальной справедливости (этот мотив есть в романе, но он не имеет решающего значения), сколько во имя нарушенного нравственного принципа. И вот он увидел, что нравственный принцип нарушен и в том лагере, к которому он принадлежит, границы, отделяющие добро и зло, оказались смытыми” [там же, с. 602].

Рефлексивный подход к провокации

Один из ключевых моментов романа “Петербург” — диалог между Дудкиным и Липпанченко — можно истолковать как

*А. Дмитриев,
И. Задорожнюк*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



своеобразный поединок в рамках, обозначенных рефлексивной теорией. Г.Л. Смолян предлагает интересную трактовку этой теории применительно как раз к феномену провокации. Он рассматривает провокации как один из способов манипулятивного управления наряду с дезинформацией, шантажом и компрометацией. В этом плане провокация — это «навязывание противнику совершенных действий выгодных для его стороны» и «создание конфликтной ситуации (“акции”) для получения какой-либо, нередко чрезмерной, а отсюда и неосторожной реакции» [15]. Для более детального описания данного феномена Смолян обращался к творчеству В. Шекспира, А. Линдгрена, В. Пелевина. Правда, “Петербург” в данном ряду не упоминался, хотя именно там провокация наиболее выпукло выступает как пункт пересечения политико-идеологических и психолого-психиатрических координат, социально-исторических контекстов и психического контагия.

Особенно четко моменты рефлексивности в постановке и оправдании провокации просматриваются в разделе “Не хорошо...” шестой главы романа, где искренний террорист Дудкин (Неуловимый) размышляет о месте и роли провокатора Липпанченко. «Он знал, что о с о б а хохочет над общим их делом. Он о с о б е твердил, что программа их партии несостоятельна, отвлеченна, слепа; и о н а — соглашалась; он же знал, что в выработке программы особа участвовала; если бы он спросил, не провокация ли замешалась в программу, то о с о б а ответила б: “Нет, и нет: дерзновение...”» [1, с. 275]. “Дерзновением” могли быть объявлены и удача, и неудача покушения (одни покушения Азеф допускал, другие — придерживал, шантажируя и охранку, и Боевую организацию эсеров), любые замыслы и обвинения (что в романе прекрасно продемонстрировано), любые эксцессы.

Начинается рефлексивный поединок. Дудкин спрашивает Липпанченко о правомерности задуманной провокации (убийства сыном отца-сенатора), замечая: “Стыдно!” и спрашивая: “Что передать Аблеухову относительно провокаторской этой записки?” Ему отвечают: “Не провокаторской вовсе” — и уточняют, что письмо было передано напрямую самому обвиняющему, но так, что тот не догадывался о его содержании [Там же. С. 279].

На втором круге рефлексивного поединка выясняется, что автором записки был сам Липпанченко и что его целью было проверить, не является ли провокатором Аблеухов — чему приводятся соответствующие “доказательства”. Данный аргумент Неуловимый не принимает, и тогда уже в третьем круге обвинения в провокаторстве адресуются ему самому.

Промежуточный результат — повеление Неуловимому отказать от “слюнтяйства”, допустить факт отцеубийства и тем самым снять с себя подозрения в возможном провокаторстве. “Совершается торг: мне предлагается поверить отвратительной клевете, или, точнее, не веря с клеветою этою согласиться це-

ной снятия клеветы с меня самого...” [там же, с. 283]. Итог — решение убить Липпанченко, охватывающего практически каждого липкой клеветой и выстраивающего “рефлексивные поединки” таким образом, что из паутины клеветы не может выпутаться никто.

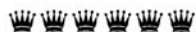
Остается добавить, что сам Андрей Белый пишет о “заразе догадок, треволнений и слухов” [там же, с. 168], едва ли не буквально цитируя упомянутую книгу Бехтерева. Потому следовало бы более обстоятельно разобраться в причинах появления и способах существования этой “заразы” — дело ведь здесь отнюдь не только в проявлениях “речевой субстанции”, как считал русский психофизиолог.

Андрей Белый в этом плане затрагивает широкие исторические контексты, выстраивая нетривиальные аналогии. Сам Петербург как он представлен в романе можно трактовать как город длящейся, пролонгированной мегапровокации: его строительство хронологически начиналось где-то рядом с казнью Петром своего сына Алексея, а одна из стадий его истории, ухваченная писателем, завершается неудавшимся, к счастью (хотя и чаемым — с аллюзиями с “Братьями Карамазовыми”), отцеубийством. (А в последующие десятилетия ему предстояло стать ареной грандиозных провокаций вроде убийства Кирова и “Ленинградского дела” — здесь снова нельзя не подивиться визионерскому дару Андрея Белого.) По сути, мегапровокацией предстает и сам город, охваченный психическим контактом (у него свое сумасшествие): “Петербург там за окнами преследовал мозговой игрой и плаксивым простором” [там же, с. 406]. Впрочем, здесь романист следовал традиции, заложенной Пушкиным (“Медный всадник”) и продолженной Достоевским.

И сама подготовка к несостоявшемуся убийству выстраивается как некая многосоставная провокация, прячущая за спинами исполнителей ее подлинного автора: “Александр Иванович вспомнил (о с о б а все тогда ему рассказала в трактирчике, подливая ликеру): Николай Аполлонович Аплеухов чрез какое-то подставное лицо предложил им тогда собственноручно покончить с отцом; помнится, что о с о б а тогда говорила с отвратным спокойствием, прибавляя, однако, что партии остается одно: предложение отклонить; необычность намеренья, неестественность в выборе жертвы и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью, — все это отозвалось на чувствительном сердце Александра Ивановича приступом жесточайшего омерзения (Александр Иванович был тогда пьян; и так вся беседа с Липпанченко представлялась впоследствии лишь игрой захмелевшего мозга, а не трезвой действительностью): и это все он вспомнил теперь” [там же, с. 250].

В целом образуется некая даже не двух-, а трехэтажная провокация: “особа” вовлекает в ее осуществление в качестве посредников третьи лица, передавая компрометирующие записки через наивных “курсисточек” и светских барынь.

*А. Дмитриев,
И. Задорожник*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена



Еще одна мегапровокация — вторжение темы “монгольства” — намечена в романе, в основном, пунктирно. И все же как одна из доминант романа выступает обнаружение черт “монгола” не только у Абреуховых, потомков выходцев из Азии, но и у того же Липпанченко; а у Неуловимого “мозговые игры” усугубляются визитами к нему “туранцев” (здесь уместно вспомнить, что, согласно учению евразийцев, “туранский” элемент является ключевым для истории России в прошлом и настоящем). На это указал и сам Андрей Белый в своих воспоминаниях 1922–1923 годов (к этому времени в Софии уже вышел сборник статей “Исход к Востоку: Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев”) «Руководящая нота татарства, монгольства в моем “П е т е р б у р г е” — подмена духовной и творческой революции, которая не революция, а вложение в человечество нового импульса — темной реакцией, нумерацией, механизацией; социальная революция (“красное домино”) превращается в бунт реакции, если духовного сдвига сознания нет; в результате же — статика нумерованного Проспекта на вековечные времена в социальном сознании; и — развязывание “д и к и х с т р а с т е й” [очевидно, отсылка к блоковскому “На поле Куликовом”] в индивидуальном сознании» [там же, с. 505].

К.В. Мочульский еще в 1955 году в книге о творческих прозрениях Андрея Белого с достаточной определенностью указал, что Андрей Белый во многих отношениях выступает прямым предшественником евразийцев. Характеризуя идейный замысел романа, он пишет: «И старая Россия, и новая, и реакция и революция — во власти темной монголо-туранской стихии. Единственное спасение — “тайное знание” — антропософия» [12].

Примечателен в этом плане также комментарий литературоведа, подготовившего современное издание “Петербурга”: «Согласно идеалистическим взглядам Белого, смысл той провокации, которую учинила история ничего не ведающему человечеству: под европейскими шуртуками молодого поколения, призванного ныне оздоровить мир, течет “восточная” кровь; под покровом “порядка” стабилизируются и вот-вот готовы выплеснуться разрушительные инстинкты. Европе несут гибель ее же сыны, прочно зараженные Востоком: убийцей Аполлона Аполлоновича должен стать его же сын Николай Аполлонович» [1, с. 591].

В целом в “Петербурге” представлено, как ни кощунственно это может прозвучать, оптимальное для провокации соотношение психического контагия и социального контекста. Писатель впервые показал, как провокация становится одним из ключевых элементов политической манипуляции и социальной деструкции. Более того, роман спрогнозировал и многочисленные перманентно возникающие в XX веке ситуации, когда провокация становится элементом внутренней и внешней политики.

Таким образом, отражение феномена провокации в художественной литературе дает основания говорить не только о социальных, но и об антропологических истоках провокации. Писателям удалось также увидеть в агентах провокации акторов кошмарного, в том числе и в самых обыденных, казалось бы, житейских ситуациях, в частности, в трагическом аду коммунальной кухни [4].

Нарастание вала провокаций в новом веке требует комплексного изучения этого феномена и выработки соответствующего его определения с учетом всех нюансов, включая динамику словоупотребления в связи с его обозначением, и освещение его в массиве художественных текстов.

Литература

1. *Белый А.* Петербург. М.: Наука, 1981. С. 516.
2. *Бехтерев В.М.* Внушение и его роль в общественной жизни. СПб.: Издание К.Л. Риккера, 1908.
3. *Дмитриев А.В., Сычев А.А.* Скандал. Социофилософские очерки. М.: ЦСПиМ, 2014. С. 32.
4. *Дмитриев А.В.* Провокация и ее рефлексия в ранних рассказах М. Зощенко // Рефлексивные процессы и управление. М.: Когито-центр, 2015. С. 34–37.
5. *Достоевский Ф.М.* Бесы // Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 10. Л.: Наука, 1974. С. 300.
6. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 11. Л.: Наука, 1974. С. 159.
7. *Загладин Н.В.* Политическая энциклопедия. М.: Мысль, 1999. С. 280.
8. *Земляной С.Н.* Подстрекатели истории. Феномен провокации в российской политической жизни и литературе // Земляной С.Н. Штрихи к портрету минувшего века. М.: Знак, 2004. С. 131–173.
9. Он же. Провокация Серебряного века. “Петербург” Андрея Белого в сегодняшней перспективе. Там же. С. 185–203.
10. *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. Т. 33. С. 322.
11. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 44. Л.: Наука, 1974. С. 458.
12. *Мочульский К.В.* Андрей Белый. Томск: Водолей, 1997. С. 237.
13. *Неизданный Достоевский* // Литературное наследство. Т. 83. М.: Наука, 1971. С. 290.
14. Психология и проблемы становления правопорядка. Круглый стол // Психологический журнал. 1992. № 2. С. 131.
15. *Смолян Г.Л.* Рефлексивное управление — технологии принятия манипулятивных решений // Труды Института системного анализа РАН. 2013. № 2. С. 57, 59.
16. *Степин В.С.* Постнеклассика: философия, наука, культура. М.: Мир, 2009.
17. *Степун Ф.А.* “Бесы и большевистская революция” // “Бесы”: Антология русской критики. М.: Согласие, 1996. <http://www.philology.ru/literature2/stepun-91.htm>
18. *Сычев А.А.* Провокация между теорией и жизнью // Провокация: сферы коммуникативного проявления. М.: Русайнс. 2016. С. 19.
19. The Oxford English Dictionary. Sec. Edition. 1998. Vol. XII. P. 721–722.

*А. Дмитриев,
И. Задорожнюк*
Провокация:
неопределенность
понятия
и неустрашимость
феномена